

Успокоенные относительно участи мышки, Николай Аполлонович с Александром Ивановичем оба тронулись в путь.

Впрочем, тронулись, потому что казалось, что с лестничной балюстрады на них кто-то смотрит: вытливо, и грустно.

ЗАБАСТОВКА

Повысыпали на улицу косматые манджурские шапки и растворялись в толпе; но толпа все росла; субъекты, манджурские шапки шли по направлению — к мрачному зданию с багрянеющим верхом; у мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манджурских.

И перли, и перли в подъездные двери — так перли, так перли! И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием.

Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттоптывал отрядик городских; околоточный надзиратель — конфузился; серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза; а ему это в спину — словесное замечание, выговор, смехи и даже: ай, ай, — непристойная брань — от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги, Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова (рыбные промыслы и пароходство на Волге). И околоточный надзиратель покрикивал:

— «Проходите, господа, проходите!»

Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони: из-за бревенчатых зубьев — нет, нет — поднималась косматая голова; если б встать над забором, то можно бы было увидеть: как пригнанные из степей и с нагайками в кулаках, и с винтовочным дулом за спинами, злели, и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах; косматые лошаденки — поплясывали.

Это был отряд оренбургских казаков.

Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами; нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел: согнутых; полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и несогнутых: все обсели, обстали тела; занимали бегущие амфитеатры сидений; и не было видно кафедры:

— «Ууу-ууу-ууу». Гудело в пространстве и сквозь «ууу» раздавалось подчас:

— «Революция... Эволюция... Пролетариат... Забастовка...» Опять: «Забастовка...» Еще: «Забастовка...»

И — больше гудело.

Шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже — забастовка; и там-то, и там-то, и там-то уже — забастовка готовилась; потому-то и следует бастовать: бастовать вот на этом вот месте: ни с места!

БЕГСТВО

дяденька всадник

Александр Иванович возвращался приневским проспектом; огонь пролетел; открывалась Нева из-под свода Канавки; на выгнутом мостике он заметил опять ту же тень.

Александр Иванович возвращался в убогое обиталище, чтоб сидеть в одиночестве и следить: жизнь мокриц. Утренний выход был бегством от ползающих мокриц; наблюдения Александра Ивановича привели его к мысли: спокойствие ночи зависит от проведенного дня; пережитое на улицах, в ресторанчиках, в чайных приносишь домой.

С чем же он возвращался?

Переживания повлачилися глазу невидным хвостом; Александр Иванович переживания переживал в обратном порядке, убегая за спину; казалось ему, что спина пораскрылась; из этой спины, как из двери, — откинулось и собирается броситься на него самого точно тело гиганта: переживания сегодняшних суток.

Александр Иванович думал, что стоило возвратиться, как происшествия суток заломятся в дверь.

За собой он оставил блещущий мост.

За мостом, на Исакии из муты возникла скала: простирая тяжелую, покрытую зеленью руку — загадочный всадник; над косматою шапкой дворцового гренадера конь выкинул два копыта; а под копытом качалась косматая гренадерская шапка.

Тень скрыла огромное Всадниково лицо; ладонь врезалась в лунный воздух.

С той чреватой поры, как примчался сюда металлический Всадник, как бросил коня на финляндский гранит — надвое разделилась Россия; надвое разделились и

судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача до последнего часа Россия.

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву — два задних.

Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, — хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, через воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, — среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время перемененно кидается то в морозную ночь, то — в дневное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыря, понести огромного Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран? Да не будет!..

Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит: прыжок над историей — будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого труса, а родные равнины от труса изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич.

Петербург же опустится.

Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, — брань, небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови; будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка!..

Куликово Поле, я жду тебя!

Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о, Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов — в прародимые, в давно забытые хаосы...

Встань, о, Солнце!

Бирюзовый прорыв неся по небу; а навстречу летело сквозь тучи пятно из горящего фосфора, неожиданно пре-

вратившееся в яркоблистающий месяц; все вспыхнуло: воды, трубы, граниты, две богини над аркою, крыша четырехэтажного дома; и купол Исакия поглядел просветленный; и вспыхнул — меднолаваровый венец; погасли островные огоньки; двусмысленное судно с середины Невы обернулось рыболовной шхуною; с капитанского мостика проблеснул даже трубочный огонек сизоного бодмана в шапке, с наушниками; — светлый фонарик матроса на вахте.

Тут — судьбы людские Александру Ивановичу осветились отчетливо: можно было увидеть, что будет, чему никогда не бывать: так — стало ясно; в судьбу свою он взглянуть побоялся; стоял потрясенный.

И — врезался в облако месяц...

Снова бешено понеслись клочковатые руки, туманные пряди; двусмысленно замаячило пятно фосфора...

Оглушающий, нечеловеческий рев! Проблиставши рефлектором, неся, пыхтя керосином, автомобиль — изпод арки к реке; и — желтые, монгольские рожи прорезали площадь.

СТЕПКА

От Колпина вьется дорога: мрачнее места нет! Подъезжаете к Петербургу, проснулись: и в окна вагонных — мертво: ни единой души, ни единой деревни, сама земля — труп.

Многотрубное, многодымное Колпино!

От Колпина вьется дорога; и — линия телеграфных столбов. Мастеровой пробирался там; на пороховом он работал заводе; был прогнан; и — шел пехтурой к Петербургу; мертвели тяжелые камни; взлетали шлахт-баумы, чередовались полосатые версты; и проволока в столбах дребезжала.

Многоэтажные груды присели за фабриками; фабрики приседали за трубами — там, там; и — там; в небе не было ни облачка, а горизонт раздышался там сажей.

И мазалась ядовитая гарь; и на гари щетинились трубы; труба поднималась высоко; она — приседала; там — высился ряд истончавшихся труб, становившихся издали волосинками; можно было считать волосинки; торчала громоотводная стрелочка.

На все это Степка мой — нуль: посидел, сапоги долой; переплел свои ноги; и далее: потащился к пятну ядовитому сажи.

l'altro, e in quell'altro ancora lo sciopero era già cominciato; che in quel posto, e in quell'altro, e in quell'altro ancora lo sciopero si preparava; e perciò bisognava anche qui scioperare: scioperare all'istante: e non muoversi!

Un'evasione.

Dall' Aleksandr Ivànovič tornava per la prospettiva lungo la Neva; passò a volo una luce; la Neva si apriva di sotto all'arco sul canale; sul ponticello ricurvo egli notò nuovamente l'ombra consueta.

Aleksandr Ivànovič tornava al suo misero alloggio, per starsene in solitudine a spiare la vita degli onischi. Le uscite mattutine erano per lui un'evasione dall'incubo degli onischi striscianti; le lunghe osservazioni avevano convinto Aleksandr Ivànovič che la tranquillità delle notti dipendeva dal modo in cui aveva trascorso le giornate; tu porti di solito a casa tutto ciò che hai vissuto in istrada, nei ristoranti, nelle sale da tè.

E lui che cosa portava?

Le emozioni del giorno si trascinavano dinanzi ai suoi occhi come una coda invisibile; Aleksandr Ivànovič viveva le proprie emozioni in ordine inverso, smarrendole dietro la schiena; gli pareva che la sua schiena si aprisse; e che dalla schiena, come da una porta, si rigettassero indietro, accingendosi a scagliarsi via da lui come il corpo d'un gigante, le emozioni delle ultime ventiquattr'ore.

Aleksandr Ivànovič pensava che bastasse rientrare, perché le vicende delle ultime ventiquattr'ore si spezzassero contro la porta.

Si lasciò dietro il ponte corrusco.

Sulla piazza di Sant'Isacco, oltre il ponte, dalla torbidezza emerse una roccia: tendeva la mano pesante, coperta di verde, l'enigmatico Cavaliere di Bronzo; sopra il berretto di pelo d'un granatiere imperiale il cavallo aveva alzato due zoccoli; e sotto uno zoccolo ondegiava il berretto di pelo del granatiere.

Un'ombra nascose l'enorme volto del Cavaliere; il suo palmo si incise nell'aria lunare.

Dalla pregnante epoca in cui giunse qui a spron battuto il Cava-

liere metallico, scagliando il proprio cavallo sui finnico granito, in due si è divisa la Russia; in due si sono divise anche le sorti della patria; in due si è divisa, per soffrire e per piangere sino all'ultima ora, la Russia.

Russia, tu sei come questo cavallo! Nel buio, nel vuoto tu hai alzato gli zoccoli anteriori, saldamente piantando quelli di dietro nel suolo di granito.

Vuoi staccarti anche tu dalla pietra che ti trattiene, come si sono staccati dal suolo alcuni dei tuoi pazzi figli? Vuoi staccarti anche tu dalla pietra che ti trattiene, e restare sospesa senza briglie nell'aria, per precipitarti più tardi nel caos delle acque? O forse, squarciando le nebbie, ti vuoi lanciare attraverso l'aria, per scomparire nelle nuvole assieme ai tuoi figli? Oppure, impennandoti, Russia, tu hai meditato lunghi anni sul destino terribile che ti gettò in questo luogo, — in mezzo a questo lugubre settentrione, dove lo stesso tramonto dura molte ore, dove il tempo stesso alternamente prorompe ora in gelida notte ora in diurno splendore? Oppure tu, spaventata dal salto, abbasserai di nuovo gli zoccoli, per portare, sbuffando, il gran Cavaliere da queste contrade illusorie nella profondità di spaziose pianure?

Ma ciò non accadrà!...

Poiché s'è impennato una volta, misurando con gli occhi l'aria, il cavallo di bronzo non potrà abbassare i suoi zoccoli: il salto sopra la storia avverrà; ci sarà un grande scompiglio; la terra si spaccherà; le montagne crolleranno per un grande terremoto; e le pianure nate per il cataclisma si inarcheranno dovunque in escrescenze gibbose. Su quelle gobbe appariranno Nižnyj, Vladímir e Ūglič.

Pietroburgo sprofonderà.

Scatteranno dai propri confini in quei giorni tutti i popoli della terra; ci sarà una gran mischia, — una mischia mai vista: gialle orde di Asiatici, mossesi dalle antichissime sedi, imporporeranno di oceani di sangue i campi europei; ci sarà, ci sarà una nuova Tzusima! Ci sarà una nuova Kalka!...

Campo di Kulikòvo, ti aspetto!

Splenderà l'ultimo Sole quel giorno sulla mia terra natia. Se tu non spunterai, Sole, le sponde europee sprofonderanno sotto il pe-

sante tallone mongolico, e su queste sponde comincerà ad incre-
sparsi la spuma; le creature terrestri si inabisseranno di nuovo verso
il fondo degli oceani – nel caos primordiale, dimenticato da tempo...

Sorgi dunque, Sole!

Una breccia color turchese trascorse per il cielo; e incontro ad
essa volò attraverso le nuvole una macchia di fosforo ardente, mu-
tandosi all'improvviso in una splendida luna; ogni cosa avvampò:
le acque, i camini, il granito, due dee sopra l'arco, il tetto d'una casa
a quattro piani; e la cupola di Sant'Isacco apparì illuminata; e av-
vampò una ghirlanda di bronzo alloro; si spensero i lumicini delle
isole; un ambiguo battello nel mezzo della Neva assunse la forma
d'una goletta da pesca; dal ponte di comando balenò persino la
fiammella della pipa d'un nostromo dal naso grigio-azzurrognolo e
il berretto con copriorecchie; e poi la lanternina luccicante del mari-
naio di guardia.

A questo punto i destini umani si illuminarono nitidamente
dinanzi ad Aleksandr Ivànovič: gli era possibile scorgere ciò che
sarebbe stato e ciò che non sarebbe accaduto mai: così chiara era
divenuta ogni cosa; ma egli aveva paura di guardare nel proprio
destino; stava lì sbalordito.

E la luna fendette una nuvola...

Di nuovo si misero a correre braccia a brandelli, ciocche neb-
biose; ambigua baluginò una macchia di fosforo...

Un assordante ruggito inumano! Coi fari abbaglianti, sbuffando
per la benzina, un'automobile irruppe di sotto l'arco in direzione
del fiume; e gialli ceffi mongolici attraversarono la piazza.

Stepka.

Una strada si snoda da Kòlpino: non esiste luogo più lugubre!
Avvicinandovi a Pietroburgo, voi vi svegliate: e ai finestrini del
vagone è una morta distesa: non un'anima, non un villaggio; la
stessa terra è un cadavere.

Kòlpino! Un luogo dai molti camini e dal molto fumo.

Una strada si snoda da Kòlpino; e una linea di pali telegrafici.
Un operaio arrancava per quella strada; lavorava in un polverificio;
ne era stato scacciato; e andava a piedi a Pietroburgo; intorpidivano
le pietre pesanti; si alzavano a volo le sbarre ai passaggi a livello;
si avvicinavano i pilastri a strisce delle verste; e il filo di ferro
sui pali tinniva.

Cumuli di molti piani si erano accovacciati dietro le fabbriche;
fabbriche si accovacciavano dietro i camini – in quel punto, in quel-
l'altro, dovunque; in cielo non c'era nemmeno una nuvoletta, e
l'orizzonte soffocava dalla fuliggine.

Un velenoso bruciatuccio imbrattava l'aria; e sul bruciatuccio si
rizzavano i camini; sorgeva alto un camino; si accovacciava; laggiù
si levava una fila di camini che si assottigliavano, sino a diventare in
lontananza esili come capelli; lì si potevano considerare capelli sot-
tili; sporgeva la piccola lancia d'un parafulmine.

Ma di tutto questo il mio Stepka non si curava: si sedette un
istante, si tolse le scarpe; mosse a fatica le gambe; riprese poi a
strascicare verso una velenosa macchia di fuliggine.

Verso sera si aprì la porta d'una portineria: la porta stridette;
e il portiere, Moržov, alzò la testa; la corpulenta portiera (aveva
sempre mal d'orecchio), ammonticchiando i cuscini paffuti, accudiva
quel giorno allo sterminio delle cimici.

Si aprì dunque, stridendo, la porta della portineria; sulla soglia
stava Stepka esitante (Moržov era suo compaesano: Stepka, s'in-
tende, si recava da lui).

Verso sera comparve una bottiglia; comparvero dei cetriuoli sa-
lati; e il ciabattino Bessmertnyj con la chitarra.

– Ecco qui un compaesano, un mio compaesano! – ghignava
Moržov.

– Tutto questo è dovuto alla loro mancanza di comprensione, –
asseriva, stringendosi nelle spalle, il ciabattino Bessmertnyj; e toc-
cava una corda della chitarra, facendo *bam-bam*.

– E come sta vostro padre?

– Non fa altro che bere.

– In fondo è un buon compaesano, – si inteneriva Moržov; e,
preso con le dita un cetriuolo, gli dava un morso.